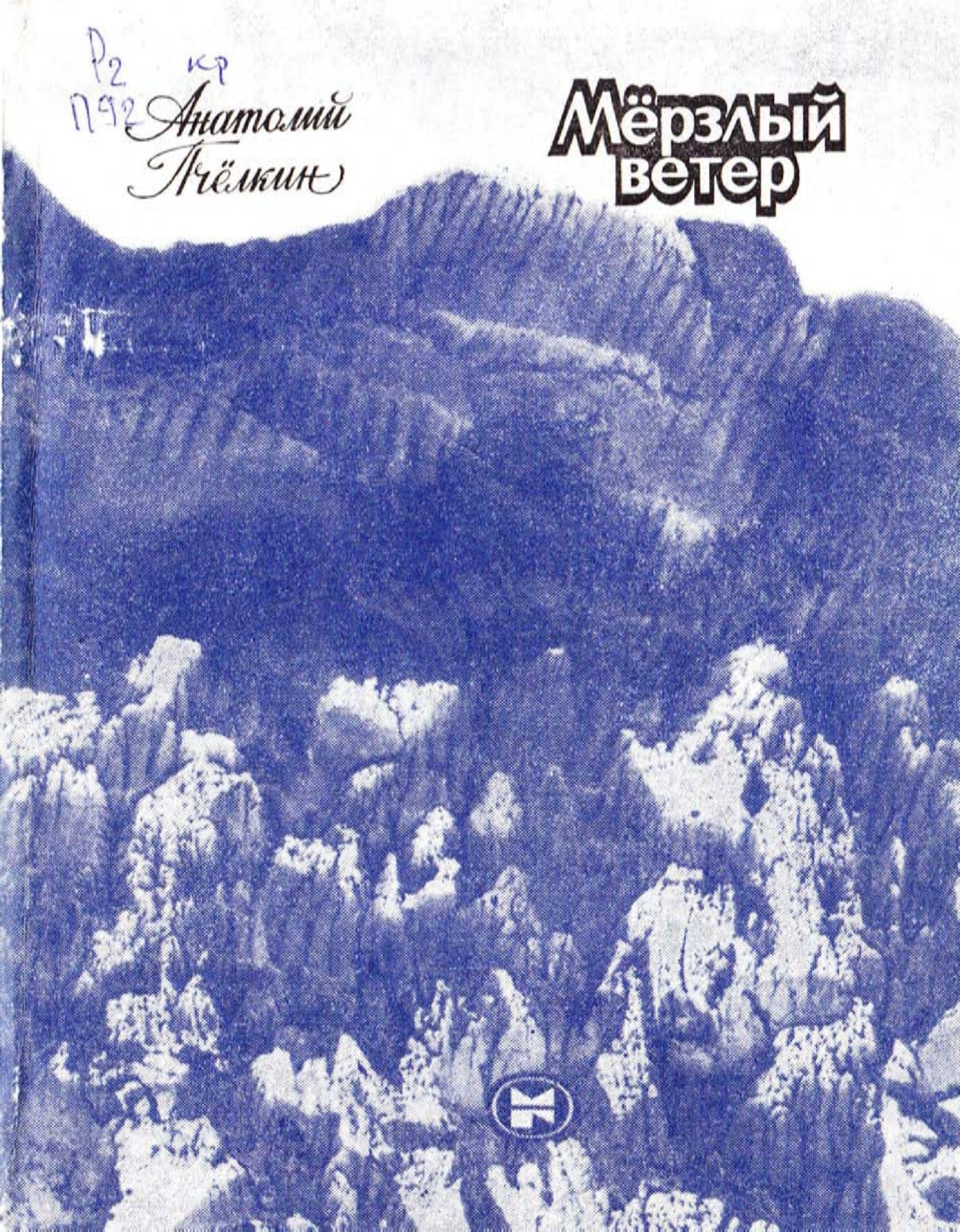

Р2 кр
П92
Анатолий
Пчёлкин
Мёрзлый
ветер

Анатолий Пчелкин

Мёрзлый ветер

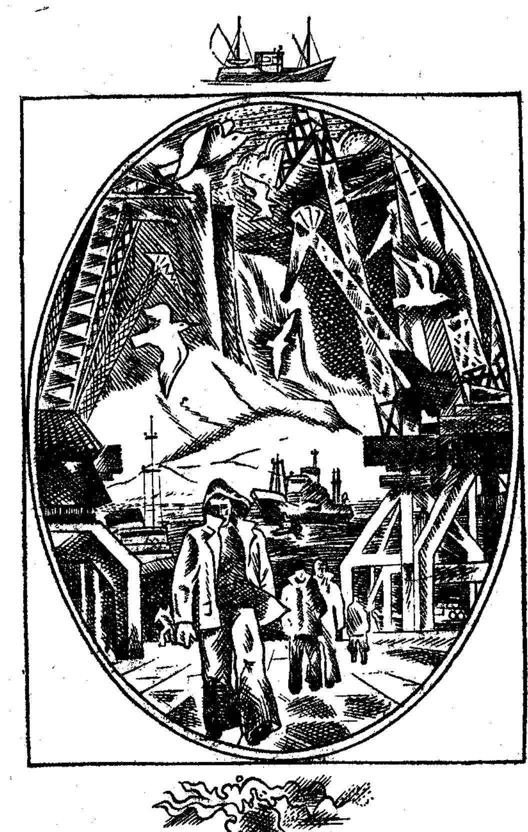


Стихотворения

Москва
Молодая гвардия
1982

84Р7
П92

П $\frac{4702010200-172}{078(02)-82}$ 207—82





МАСТЕРСКАЯ

И у меня была мастерская.
Вспомнить сейчас —
умора!
Крохотная такая
у огромного моря.

Море было студеным, древним,
а я — молодым и горячим,
раскорячившимся
между грядущим временем,
и прошлым,
и настоящим.

Дощатые стены толем были обиты.
Фанерный пол леденил ступни.
А мысли мои —
как ни комичны были они —
форсировали
космические
орбиты.

Сегодня
орбиты эти забыты.
Земные заботы липнут к подошвам сапог,
с высоким слогом все чаще соседствуют

слова-паразиты —
все как в жизни, как на земле... Мой бог
отныне рядом со мной. В облаках не витает.
В море смотрит
не взглядом мечтателя, а рыбака.
В тайге уработается —
суп полевой уплетает
за милую душу. А после
у костерка

откинется навзничь, башку запрокинет к звездам
и выдохнет обалдело:
«Господи, ширь-то какая!»
«Может, вернешься?» — спрашиваю.
«Да нет, — говорит, — поздно.
И вообще,
хорошая
у нас с тобой
мастерская!..»

* * *

Как свободно, как просторно стало разом на земле!
Вот хожу я во все стороны по лету и зиме,
как по собственной светлице.
Лишь границ не видит взгляд
да уютно половицы под ногами не скрипят.

Но зато скрипят метели да бураны — ух белы!
Да поскрипывают лиственниц червленые стволы,
да костей моих уключины поскрипывают зло,
всем премудростям обочины обучены зело.

О природа, моя матушка, работать мне вели!
Строить храмы и хоромы на Устюге и Нерли,
пробиваться вдоль Сибири, вдоль истории самой,

чтобы дети полюбили,
дабы внуки не забыли,
да ракеты
в клубах пыли
все бы плыли
надо мной...

* * *

Позади —
дорога дальняя,
а что там,
впереди?..
Молоточек ожидания
колотится
в груди.
И уже все глуше светится
в памяти
наискосок
полукружьем светла месяца
мамин беленький платок.

Но —
сквозь толщу отлетающих
верст —
все ближе,
горячей
свет ее
неукоряющих —
позволяющих
очей.

Так,
за зимами и веснами,
годы долгие и дни

и останутся
разверстыми
в твоей памяти
они.

Вопрошая и советуя,
отпуская и моля...
Словно Родина
Советская,
мама щедрая
моя.
Понимает, знает, мается
и прощается,
а ждет!
А случись... —
не сомневается:
сын ее
не подведет.

Эта жертвенность упрямая
в душах наших матерей
исторически
оправдана
всей судьбой
страны
моей.
Не на ней ли Русь
и держится,
и не ею ли сильны
величавого
Отечества
материнские
сыны?!.

* * *

На излете ли, в зените,
где б ни выпал мой черед,
вы уж маму сохраните.
А отец...
          переживет.

И не то чтоб он суровей
иль не родственных кровей.
На его законной крови
двое вышло
сыновей.

Перед миром, перед людом
светом собственных седин
и любить его
                    мы любим
и в обиду
не дадим.

Но уж если дело примет
неизбежный оборот —
вы скажите. Он не вскрикнет.
Все он правильно
поймет.

Сын простой земной науки —
русской каши с молоком, —
знал телесные он муки
и с душевными
знаком.

Да не проклял край свой отчий,
где на нем
что было сил

век жестокий, век рабочий
воду
     бочками
               возил.

У сынов — его закалка,
от труда не прячем плеч.
Надо Родине —
                         не жалко
за нее и в землю лечь.

Лечь за брата,
лечь за друга,
ибо тем и жизнь красна.
Лишь боюсь,
                    чтобы она
не для выспреннего звука
оказалась
отдана.

Но, какая б ни причина,
сообщите все
                    ему.
Батя все-таки
мужчина.
Знает батя,
                   что
                     к чему!..

ПОКОЛЕНИЯ

В столичном чинном ресторане,
средь госпитальной белизны
пьют за Победу ветераны

ушедшей в прошлое
войны.

И с шумной радостью пьянея,
живые
открывают вновь,
что не становится слабее
ни водка русская,
ни кровь,

ни дружба, ею политая,
ни даже память,
хоть года
летят, с лица земли сметая
всех без разбору. И сюда,

где не слышны аплодисменты
и эхо выспренних речей,
их собирается все меньше.
Все меньше их.
Но тем звончей,

переворачивая душу
невозмутимой тишины,
они поют свою «Катюшу»
за всех,
с кем вынесли и стужу,
и пламя смертное войны.

А я их слушаю и плачу.
И счастлив я,
что в этот миг
волненья чистого не прячу
от однокашников
своих.

Но парни,
глаз поднять не смея
от полноты высоких чувств,
уже сдвигаются плотнее
плечом к плечу,
плечом к плечу.

ТРЕВОГА

Учебные сборы.
Тревога!
В минуту обут и одет.
Спешу и волнуюсь немного,
но полной серьезности
нет.

И знаю,
что это не шутка,
что вызов, быть может, всерьез.
А все же, глядите,
не жутко.
Жена провожает без слез.

Рука ее тянется к спицам,
но, якобы увлечена,
с улыбкою
и любопытством
следит за супругом она.

— Ни пуха! — кивает мне.
— К черту!.. —
И, лишь погружаясь во тьму,
подумаю мельком:
«А ну

вот так вот — уйдешь на учебу,
а выйдет,
что шел
на войну...»

НЕРАЗРЫВНАЯ ПАМЯТЬ

Все кажется:
уже я воевал.
И был убит однажды наповал.
Но возвратился снова в строй живых,
чтоб вера в жизнь
не покидала их.

И рядом с ними вновь я воевал.
Я жил, чтоб друг,
сраженный наповал,
спокоен был:
и без него в бою
не посрамим мы Родину свою.

Живым зарыт и заживо сожжен,
из праха встал
уже не я, а он —
мой друг, солдат, погибший в той войне, —
чтоб так же вечно
помнить
обо мне.

СТАНЦИЯ

Нежно, светло и горько
в памяти оживет

станция Рутченковка,
послевоенный год.

Карточки. Голод. Холод.
Горе да лебеда.
Мимо окон
гремят и гремят куда-то
длинные поезда.

Я еще не мечтаю
вслед за ними бежать.
Щи крапивные уплетаю, —
на ночь крылышки обретаю,
чтобы во сне летать.

Я о жизни не беспокоюсь,
и не вижу я ей конца.
Лишь полгода
как с фронта поезд
мне привез живого отца.

Пусть не больно он ласков к сыну,
я-то вижу:
едва живой,
тяжело разгибая спину,
после смены он месит глину, —
скоро дом у нас будет. Свой!

Дом саманный. Полы — доливка
(помесь глины и кизяка).
А еще у нас будет калитка.
А сосед подарил
щенка.

А вчера мне тетрадь купили —
настоящую,
в три косых!

Вспомнить страшно:
тетради были
подороже вещей иных...

Впрочем,
то не моя забота.
Жить мне радостно и светло.
Лебеда растет — у забора,
а крапива — у косогора, —
повезло!

Повезло, что разбили фрица,
что вернулся домой отец,
что он мамой моей гордится,
повезло и в том, наконец,
что ушастый
худой птенец
с новой силой заставил биться
клетку каждую
двух сердец.

А вдоль станции
Рутченковки —
поезда,
словно санки с горки,
с залихватским свистом летят,
и, не ведая о Чукотке,
вслед гудкам их
мои погодки
безмятежно пока
глядят.

* * *

Нас война обошла стороной.
Безотцовщиной мы не бывали.

Нас от голода
всею страной
все живые отцы укрывали.

В дни разрухи и в годы, пока
вся страна восходила из пепла,
обжигающей стали станка
не касалась ребячья рука...
Отчего же в нас мужество
крепло?

Почему
из обласканных нас
вырастали ребята что надо?!
Мы сильны.
И честны.
Это правда.
Но еще не спрессована в наст,
мои сверстники,
наша плеяда.

Мы еще,
как невыпавший снег,
над простором Отчизны нависли,
и связующей боли
в нас нет,
чтоб скрепить
наши верные мысли.

Все заемное, все с кондачка,
все — поймите! —
дареное, братцы...
Но какие,
какие снега
высоко над Россией клубятся!

В них надежда засеянных нив,
в них уверенность пахарей славных,
что они полегли,
заслонив
тех, кто честью и памятью жив
на ведущих
дорогах
державных.

ДЕСЯТЫЕ СУТКИ

Холодное солнце стоит за окном.
Состав громыхает на стыках.
Десятые сутки — и ночью и днем
глазами к простору сибирскому льнем —
три тысячи душ ненасытных.

Острижены лбы. Пожилой старшина,
башкой потрясенно качая,
вздыхает: «Ведь надо ж, какая страна!»
Закурит и снова: «Вот это страна,
и впрямь —
ни конца и ни края!..»

А нам
девятнадцать восторженных лет!
Народ шебутной, своенравный —
мы счастливы, словно купили билет
до старости в детство
и ринулись вслед
за сказками в дальние страны.

Увы,
мы не в силах пока осознать,

что это холодное солнце,
и стылую высь, и таежную падь
всем жаром сердец нам с тобой
охранять
вот-вот на границе придется.

Десятые сутки
солдаты мы. Но
пока еще просто глазеем в окно,
коровам и девушкам машем,
глотаем пространство
и хлещем вино,
и путь вдоль Сибири
лишь дивным кино
в сознанье
проносится
нашем!..

СВЕТ СНЕГА

М. Асламову

Как видно, снег
поклонника нашел.
Он шел всю ночь.
Он всю неделю шел.
Он шел весь год,
из года в год,
и вот
тринадцатую зиму
он идет.

А я не понимаю,
почему
бредут снега к порогу моему,

зачем и отчего он —
мой порог
у ног зимы
задумчиво прилег.

И не пойму,
кто шепчет в полутьме:
зима порогу
иль порог зиме,
что нет любви
и где она — невесть,
вот разве что
привычка
в мире
есть.

Привязанность
не сердца одного,
а всей судьбы,
характера всего
к тому,
что и постыло и смешно,
да быть иначе,
в общем,
не должно.

И нет в том обреченности
ничуть.
Лишь тихий свет,
означивший твой путь
и
болью
возвышающий в крови
привязанность
до степени
любви.

* * *

Я задую в тайге
небольшой костерок,
чтоб медведя и волка в пути остерег
от ружья моего.
От объятий моих,
чтобы загодя он
отговаривал их.

Тишина у костра встанет плотной стеной
так, что можно в нее упереться спиной
и шептать до утра, до зари над рекой:
— Да святится Земля,
да святится Огонь!

Да святится огонь, согревающий нас!
Да святится огонь, пребывающий в нас!
Полагаю,
что не было б в мире меня
без людского тепла
и земного огня.

* * *

До бухты Нольде
ровно шестьдесят.
С чаевкой
в два приема одолеем.
И ежели в пути не околеем,
окажется все прочее —
пустяк.

Мороз... Мираж... Торосы... — пустяки!
Едва дойдешь до цели или метки —

все окупают
путные стихи
и путевые беглые заметки.

От Биллингса до Нольде — шестьдесят.
А не дойдем —
любимые
простят.

* * *

Промокли. Устали. Остыли.
Ввалились — и лед на усах.
Кровавые мальчики
медленно плыли
в слипающихся
глазах.

Минуту-другую курили,
телами вбирая зной,
слушая посвист
вселенской пыли
за дощатой
стеной.

Вповалку, вразброс, валетом,
в обнимку, спиной к спине
легли. И я видел во сне,
что сплю я
и хочется мне
в городе гулком,
большом и светлом
спать
при раскрытом
окне.

* * *

Тружусь,
усталости не зная,
легко и радостно,
пока
глазам открыта даль сквозная,
а слуху — лепет ручейка.

Пока,
скитаясь неразлучно
с дождем и облачком в окне,
душа и Северу созвучна,
и дальней южной
стороне,

и всей стране
с ее делами
и вдохновенными людьми
в Нечерноземье,
и на БАМе,
и на просторах Колымы.

О дни веселого порыва,
когда, ликуя и страша,
как полоумная —
с обрыва
не вниз, а вверх
летит душа,

волнуясь встречному потоку
людских надежд
и новостей,
и нет конца ее восторгу,

как нет стеснения простору
и края нет
            стране
                моей.

АВГУСТ

Ночи белые короче.
Темь прохладней и длинней.
Это — август.
Между прочим,
месяц осени моей.

Он снега еще не крутит,
перелетицу не бьет.
Рыбку ловит.
Воду мутит.
Золотишко выдает.

Будит зо́рю топорами:
с механизмами — беда!
А зима не за горами,
за горами — города.

За горами,
за долами,
за домами до небес —
наши папы,
наши мамы,
наши дети, наконец.

А еще
за той верстою,
что отсюда не видна,
новым днем озарена,

неразрывная со мною,
ты —
    осенняя
        страна...

ПЕЙЗАЖ С КОБЫЛОЙ

Далеко ли до метели,
далеко ли до зимы?
Даже палки
облетели
здесь, в верховьях Колымы.

И течет она,
тугая,
между небом и землей,
остывая,
затухая,
отрешенная такая,
обреченная такая,
на свидание
с зимой.

А октябрь на дворе
ясен — господи!
Не бывало в октябре
такой осени,
чтобы даль — чиста,
близь — оранжева,
чтобы музыкой
уста
завораживала!..

Но,
ансамбль нарушая,

гривой чалою маша,
в раму зрения
кобыла
входит серая,
как снег!

* * *

Разъедутся на зиму люди,
машины уйдут по лыжне,
и мысль о несбывшемся чуде
опять возвратится ко мне.

И снова
в железной кровати,
в махорочном стойком дыму
тревожиться мне по утрате,
что так недоступна уму.

Осыпались годы, как листья,
а средь почернелых стволов —
не волчья, не рысья, не лисья —
видна лишь тропа бескорыстья,
цепочка бесхитростных слов.

Так вот чего ради,
во имя,
во благо и славу чего
все шел я путями своими,
не зная пути своего!

И если я завтра не буду,
ужели истает он —
след
любви

и стремления к чуду,
которого, в сущности,
нет?..

* * *

Грядут декабрьские метели.
Четыре зимние недели
готовился к концерту лес,
ведь в каждой лиственнице есть
разбойный гул
виолончели.

Ну а пока
молчат басы.
Лишь в каждом прутике лозы
и зябкой веточке березы
звенят сибирские морозы
на все
концертные
лады.

* * *

Стройна, лукава, шаловлива,
огонь в очах, но молчалива,
вся страсть внутри, а все ж тиха,
в шелках до пят, а все ж нагая,
волнующая такая,
еще не грех, но тень греха,

загадочна, необъяснимо
живая, проплываешь мимо —
веков Гомеровых ладья,

и грудь, высокая как парус,
вздымается, и пышет ярость
в колоколах ее. И я,

разбуженно, разворошенно,
как храм органом — оглушенно,
незряч посередине дня,
стою, возвышенный и жалкий,
и страсти,
черные как галки,
летят в испуге из меня!

* * *

Ах, не краешком задела!
Налетела,
налегла,
захлестнула,
завертела,

подхватила —
понесла!

Ну а вдруг
поднимет к тучам
и у света на краю
опрокинет в ноги кручам
дом с твоим благополучьем,
лодку драную мою?

Захлебнутся ли от крика
похоронные ветра
над останками корыта
и обломками весла?..

* * *

И дальний лес, и близкий город,
и пруд, и камни пустыря
преобразил осенний холод
за две недели ноября.

Земля черна, как сковородка,
туманы въедливы, как дым.
И нужно время
и сноровка,
чтобы глаза привыкли к ним

и сквозь тугую паутину
угадывали, например,
не только цельную картину,
а и детали перемен.

Но я рассеян,
и вниманье
поглощено тобою всей.
И взгляд далек от пониманья
земных, не вечных мелочей.

На стыке осени и лета,
в преддверье будущей зимы,
хочу,
чтоб ты бежала слепо
за мной
на краешек земли,

где равно —
что ни приключится:
беда и радость — пополам!..

Но дни идут. А осень длится.
И не дано тому случиться,

ведь нас с тобой
одна волчица
во поле чистом родила.

СТРАХ

...Эти двое боятся друг друга.

Между этими двоими —
между мною и тобой, —
страх, отчаяние или
обреченная любовь.

От конца и до начала,
от начала до конца
ты меня
«остерегала,
не открывала лица»,
горькой горлинкой слетала
с ветки мужнего крыльца.

Не стелила мне постель,
брагой не поила,
хоронила от гостей
и — похоронила.

Успокоилась. Ушла.
Крылышки сложила.
Мужу — сына родила,
счастье одолжила.

Но горит еще в очах,
спрятанных глубоко,
тихий ужас,
теплый страх,
сладкая тревога...

* * *

А катер
следа не оставил.
Сирены коричневый крик
во мраке ночном
растаял
испуганно. Как возник.

И — кончились
ты и лето.
И стало всего нужней,
чтоб тихою струйкой света
вплелась хоть минута эта
в нити
косых
дождей.

* * *

Гуси. Гуси летят. Улетают.
В чьи-то мысли влетают. И тают,
как снежинки текут по стеклу.
А сентябрь колесит по селу,
на лету поджигает осины
и стучит листопадом по рамам...

Это ты или клекот гусиный —
телеграфом
по огненным ранам?

О, как больно твоим телеграммам!
Тем не менее — слышишь? — гуси.
Тем не менее — видишь? — осень
по сердцам, областям и странам

куролесит, срывая крыши,
без особых на то усилий...

Не пиши мне. Пожалуйста. Тише!
Слышишь —
клекот гусиный?..

СВЕТКА

В этом крохотном доме
по Мичурина, 7
было что-то и кроме
крыши, окон и стен.
И не хуже, не лучше,
как на то ни смотри.
Просто
          все не снаружи
было,
а изнутри.

А теперь я приезжий,
я прохожий теперь.
И никто в нем, как прежде,
не откроет мне дверь.
Не сбежит на крылечко,
возбужденно звеня,
одноклассница Светка,
чтобы встретить меня.

В стенгазету заметки
не обсудим мы с ней,
потому что
          у Светки
целый взвод сыновей,
две красавицы дочки,

загляденье зятья.
Редколлегия, в общем,
у Светланки
своя.

Вот тропа и калитка,
а за ней — палисад.
Прошлогодние листья
под ногами шуршат.
Но несмело от ветра
стыну я у ворот,
ибо Шпачкина Светка
здесь давно
не живет.

Хохотушка,
светило
моей первой любви,
раньше нас укатила
строить ГЭС на Оби,
и за нею
          по свету
разлетелся весь класс,
ибо Шпачкиной этой
бредил каждый
из нас.

О апрельское утро,
влажный ветер в лицо!
Изречение мудро:
«Время вылечит
          все:
и обиды, и боли,
и ушибы, и сглаз...»
Лишь от первой любови,
видно, нету
лекарств.

И остыла, а греет,
зажила, а саднит.
И сама не стареет,
а и нас
        молодит.
Пусть не пламя по жилам,
в серебре голова, —
детство в памяти
                живо,
юность в сердце
жива!

НА ВОКЗАЛЕ

Дело было на вокзале...
И. Уткин

1

Я пришел без опозданья.
Ночь. Перрон. Огни. Зима.
— До свиданья?
— До свиданья.
Нет, спасибо. Я сама...

— Уезжаешь?.. Уезжаешь...
Что ж, конечно, поезжай.
Ну, подумаешь, ужалишь,
жаль, пожалуйста, —
не жаль.

2

Поезд твой в тарелки грохнет,
вздрогнет бронзовый закат,

а кого-то снова тронет
безысходная тоска.

Заскучаю зло и лихо,
весь отбившийся от рук,
как садовая калитка
на декабрьском ветру.

3

И уеду черту в зубы,
солнцу в зубы — на восток,
чтобы стихли пересуды,
чтобы ты вернулась,
чтоб
по следам твоим без спроса
тень не рыскала моя!

4

Улетает
папироса,
темь
разбрызгивая.

* * *

Бела твоя постель.
    Метель моя бела.
И сам я — белый Лель:
    ни дома, ни стола.
    (Треклятая свирель
    до ручки довела!)
Но бел мой сирый путь,
    и помыслы чисты.

Нет дома — ну и пусть,
есть травы и цветы.
(Авось когда-нибудь
поймешь меня и ты!)

А быть или не быть —
мне, в общем, все равно,
коль скоро и любить
тебя не суждено.

В деревья и цветы,
в протяжную метель
веди меня, веди,
печальная свирель.

* * *

Что упало, то пропало.
Чему быть — не миновать.
Что посеяла — пожала,
Ванька Ветров виноват.

И кричи теперь по свету,
голоси на целый свет —
ни привета,
ни ответа.
За семь бед — один ответ.

Не уеду, так забуду.
Не умру, так отболит.
А уж битую посуду,
клеить битую посуду
мне и возраст
не велит.

Пусть живется как живется.
Не забыть бы наперед,
что, где тонко,
там и рвется,
но...
до свадьбы
заживет!

* * *

Просыпаюсь, как ранняя птица,
песней утренней клюв полоща.
Удивленная речка искрится.
И разбуженный лес шевелится.
А твой шепот
мне все еще снится,
словно льдом, обжигая плеча.

Просветленной встряхну головою —
дескать, жизнь без тебя хороша!
А потом
в тишине шалаша
буду слушать с надеждой и болью,
как, едва получившая волю,
о неволе
томится душа...

* * *

Трудиться ль устала природа,
терпенье ль ее истекло,
а лето минувшего года
так мало тепла
принесло.

Но пуще отсутствия зноя,
нехватки земного огня
молчание женщины злое
изматывало
меня.

А сердцу не верилось в это,
и, словно заведено, —
«Какое холодное лето!» —
упрямо твердило
оно.

Лишь осенью поздней
уныло
одумалось, отлегло:
«Холодное лето,
а было,
и жаль,
что так рано
ушло...»

В СЕРЕДИНЕ КАМЕННОГО ВЕКА

И. Осмоловской

В середине каменного века
мерзко на душе у человека.

До утра он хмурится, не спит,
сам не знает, что его тревожит.
Не поможет человеку спирт,
сигарета выручить
не может.

Нет еще вина и сигарет.
Нету славы, подлости, богатства.
Мирно спит пещерное собратство.
И лишь он,
смятением согрет,
шепчет вслух:
покоя в мире
нет...

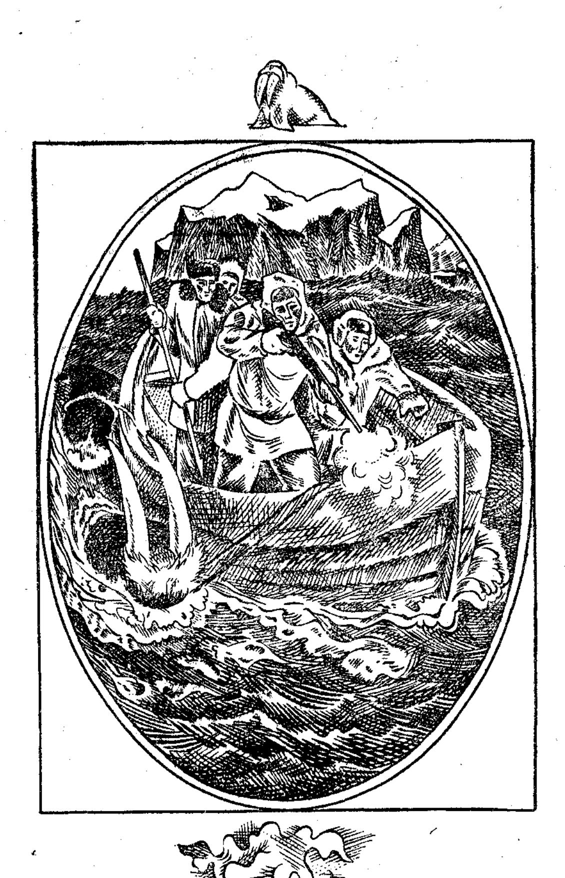
Вот он —
долгожданный перелом!
В этот час — не голоден, не ранен,
в обществе себе подобных равен
каждому и силой и умом, —
человек нащупывает грани
самого себя
в себе самом.

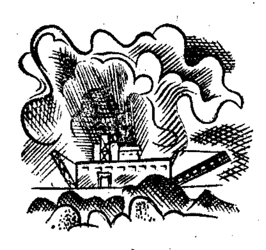
В толще допотопной темноты,
с помощью и сердца и рассудка,
миг — и осознает он,
как жутко
в нем противоборствуют пласты:
ощущенье полного желудка
с чувством
неуемной пустоты!

...За веками пролетят века,
бурные пройдут тысячелетья.
Посреди тайги
у коетерка
буду в глубь души своей
смотреть я

в страхе и в смятенье
оттого,
что и сам не ведаю ответа
на вопросы предка моего
середины
каменного
века.







ОТШЕЛЬНИК

Гудел огонь в «железке»,
над лесом ветер выл.
А он сидел,
полешки
в печурке шевелил

и, стараясь ощутимо,
лишь вслушивался, как
жестокая щетина
восходит
на щеках.

Ни ужаса, ни боли.
Лишь седь над головой —
как брошенное поле
с полынною травой.

Спокойная рубаха
белела на плечах...
А мы искали
страха
в расширенных очах,

мы ожидали стона
и злости из-под век...

Но вел себя
достойно
во времени просторном
заблудший
человек.

СТАРАТЕЛЬ

Год ли,
два мужику до пенсии?
Может, срок и того длинней.
Человек гулевой профессии,
вряд ли он
доживет до ней.

Ну а ежели и дотянется,
что сулит она мужику,
если сердце
у полдистанции
остановит на всем скаку?

Жил он в ярости,
жил он в горести,
по тайге вековой кружил,
и отвыкнуть от этой скорости
у него уже нету
сил.

Ах, как ломится дед!
Сквозь заросли.
В царство призраков и теней.

Сломя голову —
вон —
из старости,
но уже по колени
в ней.

* * *

Ты не плачь, моя красивая, не плачь.
Настоящее от прошлого не прячь.
Не куплю тебе я перстень золотой
с горделивой бриллиантовой слезой.

Наше прошлое и проще, а прочней
в память врезалось не гранями камней
и не горсткой ледяного серебра.
Жили-были. Много видели добра

друг от друга и от множества людей.
Ты не плачь, моя счастливая, не лей
слезы горькие по злату-серебру.
Вспомни: жили не тужили на ветру,

крыши не было, а был над головой
звездный мир, недосягаемо живой.
Это было выше счастья и удач,
ближе дачи, ярче золота. Не плачь!..

«Я не плачу! — вдруг ответила она. —
Я не плачу, но и дача нам нужна.
Двадцать лет жила с тобою, как во сне.
Я проснулась.
Нынче золото
в цене!..»

ВЫГОДА

Юный казак
из людишек Семена Дежнева,
ступив на Онандырскую косу,
может быть, почесал в затылке,
а может,
поковырял в носу.

А может быть,
свистнул во полоумную даль:
ах ты, мол, туды-растуды! —
и сел,
под зад подмостив пищаль,
окрай студеной
воды.

— Ау, касатик!
На ту косу
через триста десять (не раньше!) лет
козу в носу и я принесу
и, подле присевши, произнесу
модное в годы мои:
«Привет!»

Но лет через двести,
боюсь, что мой
потомок, придя сюда,
пожмет плечами:
«Ах, боже мой,
да что вы, братцы, —
айда домой,
какая вам
вы-года?!.»

* * *

Боюсь приближаться к окну,
от страха бы кровь не застыла.
Ведь только подумать — а ну
как снова дорога пустынна?

Могу ли признаться себе,
что нет тебя больше в помине,
что холодно стало княгине
в моей коммунальной избе?

Ушла, запахнув шубею.
Уехала в сторону юга.
И белая барская вьюга
к утру
        замела
                колею.

* * *

В таежном зимовье,
в глухой стороне,
на руки голову положив,
я плачу от радости. Горько мне,
а значит, я снова жив.

И, значит, затих он — девятый вал
любви. И в который раз
я снова, ребята,
все потерял,
кроме себя
и вас.

А что еще надо сыну земли,
ребенку людских пучин?
Только б дороги его
                        вели
мимо теряющихся вдали
надуманных
величин.

Только б смеялся и пел в груди,
от счастья едва живой,
свет его ключевой звезды —
свет
    звезды
            кочевой.

СРЕДИ ЗИМЫ

Среди зимы, в полярной полумгле,
изба моя напоминает остров.
Ее полуразрушившийся остов
о том всю жизнь наскрипывает мне.

Он чувствует биение ветров,
приливы снега, времени теченье
и тыщу лет, прищурившись хитро,
льет в темноту свечи моей свеченье.

А та горит — как маячок судам всем,
настойчиво стремящимся к удаче,
заблудшим, затерявшимся во мгле.

И стеарин стеклеет на столе.
И тихо в суверенном государстве

на медленно
вертящейся
Земле.

* * *

Не курлычут журавли. Не летят.
Лишь сугробы вдоль по улицам лежат.
Вдоль по улицам метелица метет
третьи сутки. Третий месяц. Третий год.

Белорыбица колотится об лед,
плавниками затухающими бьет,
иней белый покрывает чешую...
Кто там любит лебедь белую мою?

Улетела лебедь белая на юг,
где неделями метели не поют,
переметы вдоль по рекам не лежат,
рыбаки подледной ловлей не грешат.

Нарожает лебедиха лебежат,
с новым выводком воротится назад,
чтоб увидеть, как у проруби об лед
лебедь крыльями израненными бьет.

* * *

Снова зимняя птица пела,
на студеном ветру дрожа...

Если б зимняя певчая птица,
грусть мою разгадав за версту,

не прильнула однажды напиться
к моему обгорелому рту,

не присела бы весело возле,
в неизвестные дали маня, —
может быть, меня б не было вовсе
или просто не стало б меня.

Но однажды свершенное чудо
быть им вечно уже не могло.
Не ищу,
появилось откуда,
а куда,
сокрушаюсь,
ушло.

И вернется ли в образе новом,
как январские снеги чиста, —
с птичьим щебетом,
радостным словом,
поцелуем
в немые
уста?..

* * *

Я не был на том берегу,
но только представлю, и сразу
встает в опаленном мозгу
земля,
недоступная глазу.

За тридевять гор и морей,
во сне встрепенувшись от страха,

навстречу тревоге моей
спешит Обнаженная Маха.

Людей о пощаде моля,
я сам — обнажен перед нею.
И тень ее
через моря
сливается
с тенью
моею.

* * *

Песня без имени-отчества,
тихий мираж души, —
хочется Вашего
общества
в этой лесной
глуши.

Месяцы отдаления,
год врачеванья уз...
Вашего
появления
жду
и его боюсь.

В этой тоске
по случаю
встретиться и любить
и заключается лучшее.
Лучшее.
Может быть.

* * *

Что-то с тобой случилось,
то ли со мной стряслось.
С телом душа разлучилась —
просвечиваю
насквозь.

Взглядом
окаменелым
смотришь поверх огня,
словно на свете белом
вовсе и нет меня.

И упрекнуть не вправе.
Скрою ли,
утаю,
что пусто в моей оправе,
что где-то
на переправе
украли любовь мою?

Истаяла ветром в поле,
а вскоре
простыл и след.
И вот уже нету
боли.
А и свободы
нет.

* * *

Еще совсем свежи воспоминанья лета,
коричнев на телах его загара след,

но в золото хвои тайга уже одета,
и ясно, что назад возврата больше нет.

Но этот крупный дождь, обвал стеклянных бусин,
и радуга вдали, и солнышко из туч
пускай и ни при чем, а все же, ну допустим, —
как взмах твоей руки, ее прощальный луч.

И пусть надежды час недолог, мимолетен —
дождь отшумит в горах и облетит хвоя, —
но на холсте души — на лучшем из полотен
свет сердца твоего уже оставил я.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Мослами, как шарнирами, стуча,
чуть свет — нескладный — я уйду из дома
и выдержу нагрузку тягача,
лишь будь на то
молчанье приискома.

Ни радости, ни горя, ни беды.
Как будто я один на этом свете —
в болотниках,
в промасленном берете
средь неба, леса, золота, воды
и певчих птиц. Но слышу ли я их?

Когда
через посредство жил своих
всего себя в свой труд переливаешь —
поди, о том и думать забываешь!
А отдых — что ж,
он только сладкий миг.

Лопату брошу. Кинусь на траву —
бревно бревном. И только лишь глазами
восторженно вбирая синеву,
минуту-две
не то рекой плыву,
не то и впрямь парю под небесами.

Но загремит бульдозерный отвал,
вздохнет вода и ринется в колоду —
и в мире грез
как будто не бывал
я сроду.

И вновь разгар
неслыханной страды,
той, что зовут в газетах золотою.
Рев техники. Рычание воды.
Рабочий гром породы и руды
взрывают
благолепие среды,
в которой сам я
так немного стою.

Не до красот. Придя на полигон,
я сердцем принял тот закон священный:
вдохнув огонь,
и выдохни — огонь,
в физические силы превращенный!..

Но к вечеру
я выжат как лимон.
«До завтрака!» — мне шепчет Филимон.
«До завтра...»

* * *

То снег, то дождь. Тайга. Трясина.
Чаи у долгого костра.
Валюсь под вечер,
                    как лесина,
и умираю. До утра.

А там опять
лопату в руки,
и — лейся, золото, рекой!
И никакой тебе науки,
литературы
никакой.

Но и со мной непримирима,
и неприступная извне,
тоска по совершенству мира
и здесь дышать
мешает
мне.

* * *

Наслушаться песен и басен,
уснуть
и увидеть во сне
свой путь,
что уж как ни опасен,
а в яви — опасней вдвойне.

Но если проснуться,
то с тем лишь,
чтоб с первых рассветных минут

отчетливо знать:
что посеешь,
то внуки твои и пожнут.

А к вечеру
тот же вагончик.
И так же —
                    ни зги впереди.
И кто-то хохочет,
хохочет
с трагическим свистом в груди.

ЗОЛОТО И ГРЯЗЬ

Вад. Кузнецову

Был день неказист по-осенни,
а труд по-горняцки тяжел.
Сродни ядовитому зелью
из хлябей небесных
на землю
снежок омерзительный шел.

Мы грязь полигона месили,
устало точа языки
о том,
что уж только в России
остались, поди, бурлаки...

Ах, эти зубастые шутки,
порою и злые вполне,
слыхал я и в дымной дежурке,
и в залах лепной штукатурки,

в столице
и на Колыме.

Привычные слуху и духу
учителя и мужика,
как видно, российскую душу
они утешают пока

и, может быть,
внутренним светом
ее освещают, — отнюдь
не застя собою при этом
от нас изнурительный путь,

которым Россия шагала
и с честью который прошла...
Вот это
иного шакала
сегодня и злит добела!

Порвавший и с честью, и с Русью,
на кровное плюнув родство,
забыл он,
как тощею грудью
Россия кормила его,

как в черные дни укрывала
под яростно-алым
крылом...
Теперь ему золота мало,
свободы ему недостало!..
А как же за общим столом,

накрытым народа стараньем
(да что там? — страданьем одним!),

неужто бывал он неравным,
себя ощущал
неродным?

Страна из руин восставала,
но свято радела о том,
чтоб каждому сыну сначала
хотя бы уж хлеба хватало,
а прочее — это потом.
Вы слышите? — «Золота мало...»
Намоем, родимый!
Вот лом,

лопата, колода, фуфайка,
а вон — полигон золотой.
Ступай же за нами, ступай-ка,
не стой на дороге,
не стой.

Не хнычь под горячую руку,
нам слушать тебя недосуг.
Сжимается осени круг,
и белые мухи — не вдруг
вот-вот заметелят округу.

Мы трудимся в поте лица.
Мы трудности поровну делим.
Мы хлесткого ради словца
и вправду родного отца
порой ненароком разденем.

Но это не с жиру, и злость
змеиная нам и не снится.
То душ наших ржавая ось —
неумное наше «авось» —
порой и скрипит, а крепится.

Что ж, может, она и крива,
во втулках разболтана впросте.
Но зубы, и шеи, и кости
не раз о нее и не два
ломали, лихие сперва,
России незваные гости.

Ах, то-то нас трудно понять!
А мы ведь и впрямь необычны:
ни наше у нас не отнять,
ни сами —
Отчизну менять
на золото мы не привычны.

Месили сентябрьскую грязь,
февральские стужи сносили,
но с Родиной кровная связь
в российской душе не рвалась
и вечно
останется
в силе!

ТЕЛЕГРАММА

Приятель прислал телеграмму,
красивую, как стихи.
Боже мой!
Отпусти мне его грехи.
Мертвые слухом не имут сраму,
оболокая чужую драму
в салоп лирической чепухи.

Пусть будут как есть —
на слова лихи,

заливисты и игривы...
Давно уж не зерна ищут, а гривны
в навозе жизни
современные петухи!

...Стройны, товарищ, твои стихи,
да жаль, что в них чувства
кривы.

* * *

В том городе,
где столько неуюта,
где что ни шаг — мышиная возня,
я тоже, может, досадил кому-то,
как этот кто-то
надсадил
меня.

И потому-то
совести мученья
терзают ум. Ведь знаю, что ни дня
я жить не мог без этого общенья,
а он не видел
жизни
без меня.

* * *

О незабвенный Брут!..
Жил-был при друге
враг.

А тот полагал,
что друг,
и верил ему, дурак.

Замкнутый этот круг
словно неравный брак:
душу откроет друг —
потопчется в ней
враг.

А глупому
не в урок —
работает, знай, за двух.
И ходит в его мирок
перевести дух,

преодолеть страх,
перехватить рупь
злейший его враг
по имени
Лучший Друг.
Такие вот пироги,
родные мои
враги!..

МАСКА

Наш друг
невероятен.
Души его стена
туманностей и пятен
фатально лишена.
В башке ума —
палата,

ах, как он говорит!
Волшебный лоб,
как лампа,
над ртом его горит.
И вечно наготове
пиратская строка
сразить на полуслове
юнца и старика.

Но там,
где двое спорят
всерьез и наповал, —
он сумрачен, как погреб,
и замкнут,
как подвал.
Он черен, словно мина.
А в очи заглянуть —
а очи мимо:
мнимо,
как будто мира внутрь.
И кажется,
от сечи
он весь далек-далек.
Глаза осели в плечи
и потушили лоб.
И не сыскать в них чуда.
Вся сжалась
у стены
бесформенная груда
испуганной
спины.

Но, спором одержимы,
мы зря не видим, как
он стискивает жилы
в бетонных кулаках,

как пламя,
        растекаясь,
в них светится черно...

О, многого покамест
нам видеть
не дано.
Еще не стихли струны
распахнутых сердец.
Еще мы злы,
мы юны,
а он уже — мудрец.
Живем —
        кто горячее,
кто чище на просвет!..
Но от него прощенья
уже нам, братцы,
нет.

ВЗГЛЯД

Гудит,
клокочет людское море.
В его согласном и стройном хоре
душа волнуется и поет,
покамест память не полоснет:
«Оно мне надо — чужое горе?!.»
А там,
    за фразой,
        и он встает:

набычен
словно из гущи стада,
губастым взглядом на мир косит.
И страшно думать, что это — правда:

что наше ему не надо,
свое
    при нас ему
        не грозит...

* * *

Уверовав в свою непогрешимость,
друг юности стал скучен и смешон.
В нем все как будто разом завершилось,
и в пня подобье
превратился он.

Большой начальник маленькой опушки,
на лес дерев он смотрит свысока.
И вот уж им, чтоб слышать вожака,
склонять к нему
положено макушки.

Восходит солнце иль густеет мгла —
душе его ни шатко и ни валко...
Сгубила друга
чертова пила!
А жалко...

* * *

Двоюродные братья не по крови,
по родственному пламени в крови,
любовь друг к другу
мы перебороли
и дружбу — истерзали. И правы.

Но там,
где власть любви уже бессильна,
где дружбы обязательства слабы,
вновь и навек
нас породнит вершина
единства мук и общности борьбы.

* * *

Час духовного разорения,
разобщения близких душ...
Даже это стихотворение
смехотворно
хотя бы уж
тем, что тщится
с кривой улыбкой
ниткой боли, едва живой,
сшить останки надежды зыбкой.
Шил, чего уж там. Не впервой!

Шили-штопали. Обманулись.
Расползлась, как ночной туман,
по каналам приморских улиц
правда юности.
Океан
жизни суетной и жестокой
измолол в шелуху слова.
До свиданья,
залив Застольный,
Откровенные
острова!
До свидания в дали вьюжной
с сыновьями...
Но в той дали,
жизнь, прошу:

не минуй их дружбой —
пусть недолгой, пускай двурушной, —
одари ты их,
озари!

КОЛЕСО

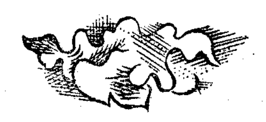
На заброшенном полигоне —
колесо довоенной тачки.
Ржавое. Ни к чему не пригодное.
А выбросить не могу.

Мы присядем с ним у отвала,
поросшего карликовой березой,
тальником, тополями.
Время.
Самое время думать.

Главное —
не торопиться
с выводами. Но память
катится,
как двуручная тачка
по наклонной доске.
Чем нагрузили,
то и везет.

Правда,
колесо иногда соскальзывает,
тачка опрокидывается,
и тогда сверху
оказываются
тяжелые
золотые пески
подспудных воспоминаний.

Что скажешь об этом,
ржавое колесо?..
Рабочее колесо времени.
Колесо
жизни.









* * *

А за тою вон горой,
величавой кручей,
ждет меня,
знаком со мной
ручеек игручий.

Я найду его исток,
загляну ему в глазок —
глубоко молчащий
черный глаз
бочажий.

Как живешь, товарищ мой,
все ль глубок óком
над рекою Колымой,
у нее под боком?

По реке бегут суда,
вдоль нее —
машины,
города и провода,
пешки и старшины.

И летят за мигом миг
и за годом годы.

Что ты думаешь о них,
тихий сын природы?

Бурной жизни в стороне,
суеты всесветной, —
что ты скажешь
обо мне,
друг мой незаметный?

Сам-то я,
подчас тужа,
оглянусь устало, —
что-то мерзкая душа
суесловьем хороша
да пуста стала.

Вслед за всеми гребя,
в мир таращась мило,
недосуг ей
до себя,
недосуг до мира.

Что за бешеный бум,
как с собой спеться?..
Дай испить мне
ясных дум
твоего сердца,

оглядеть окоем,
лечь,
с травою слиться
и в покое твоем
заново родиться...

Но ответит бочажок:
— Зря кривляешься, дружок,

над своей судьбою.
В мире каждый стебелек,
капля, камень, мотылек
быть должны
собою.

Ты не сопка,
не река,
не подобие зверька
и не склеп машины.
Пока солнышко в груди,
жив, здоров, —
валяй иди
и на этот мир гляди
со своей вершины.

Цель у каждого — своя.
Потому-то, может, я
глубоко спокоен,
что вбирает мой глазок
прилегающий лесок,
небо над рекою.

Оттого мне и легко,
что гляжу недалеко,
вдаль не забегаю,
хоть в округе на версту
понимаю все и чту,
к сердцу принимаю.

А сынок мой —
ручеек, —
тот бежит играя.
Он ребенок. Невдомек
жизнь ему иная.

Пусть лучится,
звенит
песенной строкою.
А окрепнет —
знаменит
станет, став рекою.

Отсмеется навсегда
юности звоночек,
и уж строгая вода
понесет к морям
суда
на плечах рабочих.

Ты же
волею велик.
И судьба сама велит
быть тебе
свободным.

Вот и радуйся. И будь.
Выбирай по сердцу путь,
лишь в пути
не позабудь
свериться
с народным.

* * *

Представлю зимнюю Россию,
ее просторные снега —
любую боль в себе осилю.
А как черна и глубока

она казалась перед этим
всего за час, за день, за год?..
И вдруг
невыразимым светом
тебя по маковку зальет.

И озарится даль. И — близость
откроется за словом «век»,
в котором ты уже
не «личность»,
а больше —
русский человек.

С лицом красавца иль урода,
с судьбою частного лица —
к великой участи
народа
причастный кровно.
До конца.

Одна —
для милых и немилых —
она в руках
народных масс.
Ни изменить ее не в силах,
ни отменить
никто из нас.

И лишь понять,
и лишь возвысить

ее
трудом среди людей —
зависит
или НЕ зависит
от конституции
твоей.

ЗАКРЫТЫЙ ПОВОРОТ

Я шел — не горевал,
с дорогой говорил,
неблизкий перевал
меня к себе
манил.

Счастливо и светло —
все выше,
к небесам.
А что меня влекло,
не ведал я и сам.

Взошел — и хорошо,
и пой себе. Но в путь
я под гору пошел,
забыв
передохнуть.

Лишь ахнул:
«Погоди!»,
невольно сбавив ход
увидев впереди
закрытый поворот.

Как плачут тормоза —
враставший в них поймет!

Но там стоять
нельзя:
закрытый поворот.
Там слева гор стена,
спра... —
оторопь берет!
Обгона нет, и на-
до двигаться вперед.

Пусть не на волоске,
а все же,
как в трубе,
заранее в тоске
по самому себе.

Ну что же, брат?
Тоска
не худшее из чувств.
Жива она пока —
и жизнь острей на вкус.

В ней страх и ночевал,
а все ж она чиста...
Прощай,
мой перевал
в беспечные лета!

Сожмись, душа, в кулак,
налейся кровью, боль.
Уж нам нельзя никак
расслабиться
с тобой.

Как ни опасен спуск
и как ни клонит в сон,

души полезный груз
мы к цели
довезем.

Но помни в свой черед:
отныне до конца
закрытый поворот
с тобой
глаза
в глаза.

* * *

Чтоб от счастья засияло
просветленное лицо,
человеку нужно
мало,
а поэту надо
все.

Не из рога изобилья,
не для собственных утех,
не для творческого пыла,
а вот именно —
чтоб было
все.
И всюду.
И для всех.

* * *

Предосенняя тайга...
В светлых всполохах осины,
в алых вспышках тальника —

зелены ее массивы
и красивы.
Но... пока.

Буен хвойный океан.
Но часы его расцвета
истекли. И ключ от лета
на храненье вечным льдам
вскоре будет
передан.

Трав поблекнет изумруд.
И тогда уж вовсе вдруг,
лишь моргнуть успеешь глазом,
лиственницы охнут разом
и торжественно
замрут.

Молчаливы и черны.
В глубь снегов
погружены.

* * *

Не ходи тропой лесною,
безоружный человек.
Там
за елью и сосною
тишина стоит стеною.
Повернешься к ней спиною,
зазеваешься —
навек.

У таежной глухомани
нрав и скорый и крутой:

Елки. Волки. Лес густой.
Нет оружия в кармане —
значит,
зубы приготовь.

И доколе сам съедобен —
думай,
стоит ли смотреть:
человеко ли подобен,
травояден ли медведь?

На веку своем немалом
попадешь и так
не раз
в лапы лести
и обмана
и в проем зловещих глаз.

И не смейся надо мною.
На земле
тревожный век...
Не шути
с тропой лесною,
милый
смелый
человек!

ЦАРЬ ПРИРОДЫ

В тиши лесной,
в глуши таежной
не слышен шаг твой осторожный,
лишь сердце ухает в груди:
«Постой. Послушай. Погоди».

А что годить-то? —
бог с тобой!
Не на разведку и не в бой
шагаешь ты тропой медвежьей,
такой откормленный и свежий,
еще румяный от парной,
и арсенал твой прикладной
включает инструмент
зловещий:

шнуры бикфордовы, топор,
ружье, ракетницу, лопату,
ножи охотничьи, и карту,
и кару — что за разговор! —
хозяевам
окрестных гор.

Тут если замирать кому,
то уж не сердцу твоему.

Где ты пройдешь — трава хиреет,
там все животное не смеет
дышать в предчувствии беды,
там за версту пустыней веет
и от земли
и от воды.

О Царь,
природе ненавистный!
Твой путь — воистину тернистый, —
тернист, увы, не для тебя...
О лес, о горы,
разъясните,
чем так он горд на этом снимке,
зайчишьи тушки
теребя?..

* * *

Рае

Ты от стаи не отбилась, не ушла,
просто ранена средь бела дня была
и растерянно, испуганно, светло
прямо с неба мне упала под крыло.

Что ж, тебя уже за то я полюбил,
что и сам я браконьером ранен был,
что, в тревоге через озеро гребя,
понимал, как тяжело мне без тебя.

А когда прошла зима, сошли ручьи
и разгладил я все перышки твои,
над землею, необъятна и чиста,
вновь пальбою омрачилась высота.

Что ж, пускай палят во гневе и во зле.
Браконьерства еще много на земле.
Пролететь с осенней песней над землей
хватит сил
и хватит крыльев
нам с тобой.

* * *

К твоему прислоняясь плечу,
сам не знаю, чего я хочу:
стать тобой, оставаясь собою?
Быть собой?
Но твоею судьбою

я как зритель уже увлечен,
как двоюродный брат озабочен...
Ты напрасно играешь плечом,

и смеешься ты зря,
между прочим.

Я не верю в веселость твою.
Эта маска — туманна, как Вега.
Но под ней я легко узнаю
боль земного, как все,
человека.

И когда ты уходишь с другим,
хохотнув на прощанье игриво,
не тебя обвиняю,
а грим,
с содроганием слыша за ним
крик души
у обрыва.

* * *

Мы пили темное вино
и были счастливы.
Как ныне,
в полураскрытое окно
влетали бабочки ночные.

Струился дальних фонарей
чуть слышный свет.
И звезд мерцанье
все радостнее и острей
владело нашими сердцами.

Далёко в поле, за окном
пылил и пел аэродром

земным заботам на потребу.
А мы
под гул его и гром
в высотном здании твоем
всех смертных ближе были
к небу!

Над той минутой высоты
и предвкушения полета
не властны времени пласты,
и ржавчина,
и позолота.

Но, высотою изумив,
та ночь прошла,
родив тревогу,
что с ней
ступили мы на миг
на Леты звездную дорогу

и что мы шли по ней
вдвоем,
а прочее нас не касалось...

Но каждый думал
о своем,
как много позже
оказалось.

* * *

Мы с тобой
живем, как на вокзале.
Судорожный,
спешный неуют.

Все слова прощальные сказали,
а состава
всё не подают.

И не прекращается
кружение
дней и дел.
Зима глядит в окно.
Сверстники уехали давно.
...Но не возрастает
напряжение,
а и не снимается
оно.

* * *

Я б описал свою любовь
в стихах к тебе.
У нас суббота.
И снег уже. И вся работа.
Но мозг одна терзает боль,
единый страх:
а вдруг с тобой
там, вдалеке,
случилось что-то?..

* * *

Милая
меня не понимает.
Что ни строю — все она ломает.
Замок ли воздушный возведу,
сказку ли придумаю из света —
все она разрушит,

на ходу
бросив лишь:
«Да глупости все это!»

Горечью
не полнится душа.
Я уже привык и не перечу.
Что построю за ночь, чуть дыша,
то наутро вынесу навстречу:
— Рушь, моя любимая!
Круши!..

...Но она и рушит
без души.

* * *

Над лесом сгущаются тишь и мгла.
Осколок луны заглядывает в зимовьё.
И сладкие волны
горечи и тепла,
как лодку, раскачивают
сердце мое.

Тишь — это ты. Мгла — я.
Осколок луны — надежда моя,
над лесом жизни вечный знак высоты,
Тишь — это я. Мгла — ты.

В избушке темно. Холодна стена.
В железной печурке невидное пламя гудит,
Была — жена.
Остался —
сгусток обид.

Осталась дорога в немеренном этом лесу,
дорога по звездам под яркой подковой луны.
Но мгла, что оставила ты
и которую я несу, —
не глуше, не гуще
лежащей под сердцем моим
тишины.

* * *

Уйдешь,
и я едва дышу.
Но мысль
спасительно —
навстречу:
«Крепись. Я книгу напишу.
Хоть боль твою
увековечу».

А ночь полярная длинна.
А мысль следит за мною взглядом...
Как ни кощунственна она,
но нет спасительнее
рядом.

И, погружаясь в забытье,
спасаясь от противоречий,
я сладко слушаю
ее
неутешающие речи.

ДЕВОЧКА

Женщины приходят и уходят.
Милые. Влюбленные. В себя.

Отпускаю с миром. Через годик,
глядь, — и новой сказке срок выходит.
Стало быть, и это не судьба.

И в кольце сомненья, что все туже
стискивает сердце как броня,
никого, по сути, не виня,
вспомню я лишь девочку. Все ту же —
первую, любившую меня.

Ту, кого и видел только дважды.
Первый раз, приблизившись ко мне,
девочка спросила: «Это ваши
книги про любовь? А можно мне...»

Пред ее очами голубыми,
обладай я кладами любыми,
я бы ей ни в чем не отказал.
Но ведь книги не были моими —
в третьем классе
книг я не писал...

Поняв, до чего же я дубина,
девочка смутилась и ушла.
И невыносимая обида
(на свою наивность, очевидно)
сердце мое детское
ожгла.

Через день у кассы, на вокзале,
в сутолоке праздничного дня,
мокрыми, кричащими глазами
вновь она смотрела
на меня.

Это было жутко и красиво.
В воздухе носилось воронье.

Паровозы трогали басила.
Отчего же так невыносимо
глупо
 я разглядывал ее?..

Многое с тех пор не состоялось.
Кто-то и придет еще. Но та
девочка
 со мной не расставалась,
да и не покинет
никогда!

ВРЕМЯ

Не жду тебя. Не вспоминаю.
В стихах напрасных не зову...

Не зови меня, не надо.
Исклевали воробьи,
словно гроздья винограда,
губы спелые твои.

Не зови.
Но если случай
выйдет — сердце отвори
и впусти меня, и слушай,
и молчи, и говори,

и смотри без сожаленья,
но печально и светло
в осязаемое время,
что меж нами
протекло —

вдоль морщин у губ и глаз,
между,
 но не мимо
 нас.

ЗВЕЗДА

Есть лишь любовь...
но в этом мире одиноком
она — угасшая звезда.

Когда любви твоей звезда
совсем исчезла с небосклона
и умер свет ее,
когда
на миг ослеп я удивленно

и ринулся на край земли,
чтоб под широтами иными
искать в космической пыли
лучей останки ледяные, —
не мог поверить я:
чудес,
увы, на свете не бывает.
Ни там, ни здесь, ни там, ни здесь
твоя звезда мне не сияет.
Но место,
где была она,
где больше нет ее в помине,
провалом черного окна
во мне зияет
и поныне.

* * *

Ручью по Речке
сохнуть надоело.

«Ну что ж?..» — подумал.
И ушел в песок.
Летели дни. Река под солнцем млела.
И лишь к зиме, пожалуй, пожалела,
что берег жизни
хоть и невысок,
да круче ей открытого предела,
за коим был он —
певчий голосок,
с которым в унисон когда-то пела,
а нынче вот плывет оторопело,
лишь острый снег
слетает
на висок.

МОСТ

В черном небе среди звезд
протекал ажурный мост.
Простенький. Без притязаний.
Пригородно-привокзальный.
Станция была живая —
малая, но узловая.

Удивительно! Тесна,
мне запомнилась она
ощущением простора
между звезд и фонарей,
тишиною в море ора
паровозов и людей.

Ничего не сочиняю.
Вдумываюсь. Вспоминаю...
Ночь. Движение. Покой.
Звезд мерцающие грозди.

Первый раз я еду в гости
на деревню — в мир другой.

Мама в кассе. Я продрог.
На мешке ее огромном
в уголке сижу укромном,
потрясенно одинок,
и гляжу
на ручеек
между небом
и перроном.

КОСТЕР

Осенней ночью
среди гор
в испоконовечном шуме леса
одно свидетельство прогресса
и то прадедово:
костер.

Глазок огня
издалека
увидишь — и похолодеешь,
оттаешь
и помолодеешь,
и ощутишь наверняка,

что не один ты.
Не один! —
под крышей гулкого пространства
носитель детства и седин,
неверности
и постоянства.

Что кто-то там
еще, еще —
живой-таки! —
во мраке ночи
или рыдает горячо,
или без удержу
хохочет.

Но плачет он или поет,
храпит
или ему не спится, —
а ты вдруг вспомнил:
жизнь идет,
и это счастье —
длиться,
длиться,
к стволу спиною прислониться,
и плакать,
Родину любя,
и жить,
и чувствовать себя!

* * *

Вот и вспыхнули в далях березы.
День-другой,
и ночные морозы
зелень хвойную ошелушат,
и предстанет растерянным взорам
бывший лес — редколесьем,
в котором
слышен каждый твой шорох и шаг.

Не дыши,
если видишь впервые
черных лиственниц свечи прямые,

неба льдистого синюю пыль.
Наклонись,
собери под ногою
еле теплую рыжую хвою —
эти иглы,
они не твои ль?

Ждет и нас
неминучая участь.
Облетит золотая колючесть,
ясность мыслей проступит в тиши,
и, повергнув нас в пору иную,
время высветит суть ледяную —
гордый ствол
неприкрытой
души.

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Вот ранняя осень
беззлобно,
подробно, как из году в год,
крупой в запотевшие окна
опять начала
обмолот.

И вздрогнули с жалостным звоном
все разом,
как стоном одним,
семь стекол в проеме оконном,
восьмое —
под сердцем моим.
А завтра
чуть свет колыхнется

над черной недвижной рекой,
и первый ледок
отзовется
им той же звенящей тоской.

А там
запоздалые гуси,
невидные нам в вышине,
пойдут над просторами Руси,
ее сокрушаясь длине.

Ах, знаю я:
Русь не убудет.
Но что ж так тревогой объят?..
«Что будет,
что будет,
что будет?» —
вдоль осени
гуси
кричат...

человека
и народы.

Я гляжу — не нагляжусь,
я дышу — не надышусь,
словно сам из дыма в облако
сейчас преображусь.

А потом вернусь, как снег,
в круг таежников уставших,
и один из них
вдруг скажет:
«Вот и осень.
Вот и снег.
Здравствуй,
добрый человек!..»

* * *

Золото на ковриках лежало.
Солнышко в нем тусклое дрожало.
Мелкий дождик сеялся из туч.
До смерти уставшие мужчины,
мы смотреть на эти золотины
не могли без ненависти. Ключ,

на котором бились мы полгода,
не открыл нам клада, и колода,
в сущности, опять была пуста,
между тем как дерзкий этот ключик
назывался — черт! — одним из лучших
слов геологических — Мечта.

Золото (не больше килограмма)
знать не знало, что такое драма,

унывать не видело причин.
А на небе солнышко играло.
И надменно радуга взирала
на уставших до смерти мужчин.

* * *

Падает снег. Тает.
Гоняем чаи.
Молчим...
Золота не хватает —
лето было
плохим.

Простуженно и тягуче
все месяцы,
как назло,
набрякшие снегом
тучи
над сопками
волокло.

Вода в желобах
стыла,
даль грезила о тепле...
Солнышка
не хватило
озяблой моей
земле.

А сколько людей
вставало?
А техники?
Без числа!
Объемы-то

отдавала —
золота не дала.

Но
схлынуло напряжение.
Вот и остряк
молчит.
Горько от поражения.
Дым костерка горчит.

Никто и не протестует,
всяк думает:
«Погоди,
то ли еще
будет?
Главное — впереди!

Вслушайся —
не заметил? —
в скалах,
среди камней
охает мерзлый ветер,
день ото дня
слышней...»

* * *

Я счастлив был,
пока я мог дарить
все, что имел, без тени сожаленья
достойным, да и тем, кто, может быть,
уже тогда страдал от ожиренья
ума и сердца.
То была пора
единства тела, духа и пера.

Я счастлив был,
пока я мог внимать
с глубоким придыханием и верой
и тем словам, которых понимать
еще не мог, должно быть.
Полной мерой
любви своей платить я был готов
за то, что мне их вверили. Потом

пришла пора
сомнений и утрат.
Еще не охладев к самоотдаче,
стремленью к ней я был уже не рад,
и все постылей жить мне было дальше.
И сжался я
в затравленный комок:
перо на ключ, а душу под замок.

Но я был — Я,
пока мои мечты
в конце концов не пали с высоты
в земную грязь житейского сознанья
с его тоской
по морю доброты,
пощады и взаимопониманья.
И вот она — как следствие — пора
тщедушия
и праздного пера...

* * *

Просыпаться, засыпать,
вновь проснуться ненароком,
чтобы с ужасом узнать,
что уже и 45
там — за стрелкой, поворотом;

что веселый звон колес
с каждым днем все глуше в чаще
поцелуев, смеха, слез;
что устал твой паровоз,
сострадания просящий,
в тишину хрипящий: «SO-OS!» —

полю, небу и реке,
человечеству, и этой —
в близлежащем тупике
затаившейся: «Хе-хе!»,
в плащ зловещий приодетой,

дуре с вострою косой
(что ж, что тень ее банальна? —
в неизбежности реальна,
час настанет — идеально
долг она исполнит свой).

Просыпаться, засыпать,
перед сном шептать проклятья
той, чьи цепкие объятья
убаюкали опять:

служба, дружба, круг забот —
чисто суетных, семейных,
неотложных, неизменных,
властно ухающих в борт:

«Дай! Послушай! Принеси!
Вынь! Положь! Уйди! Останься!..»
Господи, иже еси, —
образумь, уйми, спаси
душу, выведи из танца

манекенов и теней,
ибо косности косней,

чем безумство ум имущих,
нет на свете. Да измучит
кровь — от кроны до корней,
до глубин души дремучих, —
дни
беспечности
моей!
Просыпаться... Засыпать...
Просыпаться.

* * *

Зимним днем,
когда в тиши
льдинками летают звуки
и бесшумно,
как стрижи, —
лыжники, раскинув руки,

льдинки эти на лету
ловят радостными ртами, —
предынфарктники
сердцами
тоже рвутся
в высоту.

Разница, однако, в том,
что один из них
взлетает,
а другой от страха ртом
только воздух
и хватает.

День сияет. Даль звенит.
Сын по снегу семенит

и смеется. И не знает,
что мне сердце леденит,
что так в жар его
бросает...

* * *

Когда весенний снегопад
на старый снег падет — об этом
явленье просто говорят
в народе:
«Внук пришел за дедом».

Но внука праздничный кураж
не тем ли вызван, чтоб мы сами
и серый день вчерашний наш,
и примелькавшийся пейзаж
его увидели глазами;

и чтоб осевшие пласты
вчерашних догм — смесь льда и пыли, —
с достоинством, без суеты,
но знаньем собственной тщеты
с почв плодородия
уплыли?..

А что там дальше, что грядет
за днями вешнего разлива,
подумай сам. О том на диво
свежо поведал и сметливо
в других пословицах
народ.

* * *

Шквальный ветер. Мокрый снег. Ни фонаря.
Провожаем ночь на третье сентября.
Нету плана. Завалили годовой.
Ну а главное — зима над головой.

Налетела, навалилась, налегла,
планы спутала, надежды замела.
И пишу я. И качаю головой
над блокнотом в снеговерти круговой.

Я пишу, а буквы плачут — снег идет.
Буквы плачут. Снег валит. А я пишу.
Отвалюсь спиной к лесине, долго на руки дышу
и гляжу, как пар сквозь пальцы улетает в небосвод.

Точно так, поди, и время — день за днем,
из года в год
между пальцев человеческих течет себе, течет,
не догонишь, не воротишь и не стиснешь в кулаке —
оно пляшет и смеется, словно пламя в костерке.

Оно пляшет и сгорает. В мире так заведено:
время памяти не знает — мимолетное оно.
Человек же, хоть не вечен и размерами смешон —
даром памяти увенчан, с ее далью обручен.

Догорает костерок мой.
Двадцать лет и двадцать зим.
И я думаю с унынием: «Увы,
не согреть мне эту землю
ни дыханием своим,
ни словами
человеческой
любви...»

* * *

Что ты смотришь так оторопело
в этих строк печальную струю?
Не приемлешь песенку мою?
Господи, да мне какое дело!
Мама моя плакала и пела,
вот и я — и плачу и пою.

Видно, дело вовсе не в достатке,
суть не в матерьяльном рубеже,
не в осанке гордой, а в посадке,
в неделимом далее остатке,
в солевом осадке на душе.

Так уж на Руси моей сложилось,
с древности далекой повелось:
петь о том, что славно совершилось,
и о том, что снова не далось,

что, быть может, прадеду мечталось,
спать мешало дедову уму,
потому и отпрыску досталось
и да хватит
внуку
моему!

ОЖИДАНИЕ

Вот построили здание.
Заселили его.
И опять — ожидание.
Ожиданье
чего?

Кто ответит:
откуда
в нас растет не по дням
ожидание чуда,
неизвестного
нам?

Может,
это от эха
заплутавших в крови,
утра первого снега,
ночи первой любви?

А быть может,
от грусти
наших сил —
                всякий раз
вновь
о высшем искусстве,
не раскрывшемся в нас?

Или
    все-таки
            это
нас колотит
            прием
бликов дальнего света
из сыновних
времен, —

жажда слышать заранее,
без утайки,
            в лицо
их оценку
стараниям
и деяньям отцов?

Нет ни сна, ни покоя.
Никакого житья...
Но волненье
            такое
животворно,
друзья!

До отвального гуда
да не стынет в крови
ожидание чуда,
словно
      первой
            любви!..

* * *

Когда б
тревога улеглась
и мертвый час настал
в душе моей, —
                кому во власть
ее бы я отдал?
На разграбление. Разбой...
Ах, чья бы ни взяла!
Но жить в себе
сама собой
она бы не смогла.

Душа моя,
осенний лист,
на всех ветрах дрожа, —
оставь смятенье,
дождись
последнего дождя,
все беды мира искупя

одною смертью враз,
лети,
 лети,
 пока тебя
не втаптывают
в грязь!

КОНЧИНА ЛЕХИ

Александру Лебединскому

Был Лешка непутевый человек.
Во все дела без устали совался.
Был тем известен, что объездил свет,
и тем, что, от получки до аванса
подарками одаривая всех,
сам, извините,
с носом оставался.

На щедрость неуемную его
вокруг смотрели холодно, с опаской:
не дай господь, чтоб в случае чего
да не пришлось от сердца своего
ему ответить
щедростью и лаской.

Чтоб не случилось этого,
о нем
смешки курили вдоль по коридору,
и синий дым —
 то юмора, то вздору —
людей на миг
объединял в одном,
сплочал, что называется,
контору.

А непутевый,
не имея зла
в душе, лишенной зависти и страха,
любил их всех. Всем подлостям была
по вороту распахнута рубаха.

Он был рассеян, радостен и зол,
всем улыбался, цапался со всеми,
и с завистью на Лешкино веселье
поглядывал
конторский комсомол.

Счастливый человек был Алексей!
На скольких совещаниях шумели,
чтоб наказать,
чтоб гнать его взашей,
четвертовать! — туды его в качель...
А выбить дурь
до смерти не сумели.

Так он и умер
круглым дураком,
держа в зубах
 широкую улыбку.
И осторожно, бережно,
как скрипку,
в футляр его укладывал местком.

Венки несли. Коллеги шли.
 Бочком.
А гробовщик
усталым молотком
косился на незапертую крышку.

* * *

Страницы дней перебирая,
листая их за годом год,
вдруг понял я,
что жил — играя,
что шел, путей не разбирая,
и сердце билось,
обмирая
от умозрительных высот.

Осознавая личный опыт,
достал я истину со дна:
хорош он тем,
что лично добыт,
что неразменян он, должно быть,
а плох —
что грош ему цена!

Какой еще юнец-галчонок
по жизни ринется спросонок,
роняя перья на лету,
и, сбитый ею ненароком,
не удовольствуясь уроком,
опять рванется
в высоту?

Еще не верю я,
что в мире,
где дважды два — не есть четыре,
чтобы до берега доплыть, —
не сыщется ни человека,
чтобы глаза ему на это
заблаговременно открыть.
Не может быть,
не может
быть.

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Декабрь у окна
поскрипывает снегом.
Ночь музыки полна,
а все же — тишина
под неподвижным небом.

Что ж, может быть, и в ней
я бы нашел отраду,
не будь она извне
так неприступна взгляду.

Но так она черна,
так — изредка — пунцова,
как будто тишина
преддверия концова!

Как будто впусте жизнь,
и не было начала,
понятий: даль, и близь,
и высь, — как не бывало.

Стенай или молчи —
стена не отзовется.
Покамест край земли
не прорисует солнце

и первый луч во мгле
не выведет из транса
недвижное желе
морозного пространства.

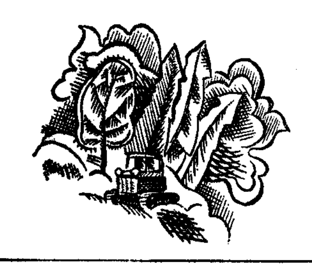
Тогда взорвется тишь
и станет ветрам тесно,

и в них ты ощутишь
дыхание оркестра

и всю живую мощь
полярного простора...
Но то уже
            не ночь.
А утро так не скоро...







* * *

В общежитии полярном,
битюгами популярном,
вечно шумном, на стене
в полуночной тишине
тихо
тикают часы.

Тишина на уши давит.
Муха в форточку влетает,
кружится, как бомбовоз.
Ей вмонтированы в хвост,
тихо
тикают часы.

Я молчу. Я напрягаюсь.
Взрыва жду. И чертыхаюсь.
Бомбовоз летит в окно,
а из мрака все равно
тихо
тикают часы.

Ни строки! Чиста бумага.
Спит Высоцкий в глотке мага,
Пугачева, Пьеха, Гот,

спит старательский народ,
только
тикают часы.

Провались ты, наважденье!
Я пишу произведенье.
Я просил бы тишины!..
Но все громче со стены
тихо
тикают часы.

Я взрываюсь. Я взмываю.
Со стены часы срываю.
Точка! Выбросил давно...
Но в крови, как стук в окно,
неотступно и черно
тихо
тикают часы!

* * *

Зима сегодня бесконечна.
Морозно солнце. Даль остра.
Колючий снег кружится нервно
над головешками костра.
Но жмутся к тоненькому дыму,
промозглым инеем пыля,
потрескавшиеся, седые,
приземистые тополя.

И это — все... Зима. Россия.
Полярный круг перелетев,
сугробов линии косые
бегут по вечной мерзлоте.
И тают
в белой
пустоте.

ДОРОГА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Эв. Бекку

Мы выбирались из тайги.
Четыре дня,
четыре ночи
вдоль русла вымерзшей реки
стальные наши
«старики»
едва тащили свои мощи.

Бульдозер —
тот же самолет.
На землю
глянешь из окошка —
она едва-едва плывет.
И гул такой.
Сильней немножко!

И говорил дорогой Бекк:
— Из всех творений недушевных
бульдозер —
это человек! —
зря, что считается
дешевле.

Гляди:
прошли такую даль,
тебя уж ноги вон не носят,
а им
не то чтобы медаль, —
пожрать и то,
пардон,
не просят!..

Во злобе и навеселе,
перед друзьями и врагами,
в педали
впившийся
ногами,
он восседал,
как перс в седле,
и гневно
двигал
рычагами.

В глазах то стужа,
то огонь,
а в горле — колокол авральный!..
И гарцевал
железный
конь
под ним,
как самый натуральный!

А я глядел.
Четыре дня
глядел,
как петли он рисует
(как бы Фортуну колесует!),
пока не понял,
что меня
уже не он интересует,

а эти —
гнев и торжество
в его глазах. Искр дерзкий танец.
И тот момент, что вдруг настанет,
когда наш дух
перерастает
самих носителей его,

когда способны мы внушить
и мысль, и боль, и гнев, и волю
созданию,
что нашей болью,
казалось бы,
не в силах жить.

Мы выбирались
из тайги.
На сотню верст округ колонны
уже морозы от тоски
чозению и листвяки,
играясь,
на дрова
кололи.

А воздух был и впрямь
горяч!
Туман
как бы кипел над лесом.
И зябкий,
в инее
кедрач
железо трогал
с интересом.

Но было что-то
в том пути
средь вековечного покоя
(Прости, редактор,
Бекк, прости!)
невольничье
и фронтовое.

Усталость вымотала нас,
а стужа сделала

печальней.
И, тяжко руша снежный наст,
печален был,
как звон кандальный,
железных траков
мерный
лязг.

Печаль глядела из кустов.
Печаль сводила наши лица.
И кто-то сдаться был готов.
Отчаяться.
Остановиться.
Среди зимы.
Среди тайги
с ее бескровными снегами...
Но Бекк
ворочал
рычаги
руками,
как маховиками.

И был его
молчащий рот
при недоверье общем нашем
такой иронией страшен,
что скажет слово
и — убьет.

Но никого он
не убил.
И в том пути,
поди, недаром
сам командир —
он комиссаром
куда талантливее был!..

Когда же пятый день вставал
(о край колымский, заповедный,
где солнце всходит
в час обедний!..) —
мы
одолели
перевал,
ближайший к дому
и последний.

И у прощального огня,
подсев к старательскому чаю,
вдруг Бекк
с отчаянной печалью
сказал,
не глядя на меня:

— Ну вот
и дом невдалеке,
а в сердце
радостно, но пусто.
Ведь как ни тяжко
жить
в тайге,
а расставаться с нею
грустно...

* * *

Реки таежной шорох тихий,
полет неспешного орла,
земля, объятая брусникой,
как пламенем.
Сиди, пиликай
и жизни радуйся великой,

что чередою многоликой
здесь испокон веков
текла.

Но где ты был в ее начале,
когда угрюмые валы
ковчеги пращуров качали,
положим,
вон у той скалы
и столь же лютые орлы
их с тем же клекотом
встречали?

Где был ты в середине лет,
когда иные поколенья
пришли сюда,
чьи поселенья
доселе ищет Новый Свет,
а их следов
простыл и след?

И вот еще одну эпоху,
где ж отсиделся ты, ей-богу,
кем увлечен, чем занят был,
покамест прадеды баские
все шли и шли на край России,
царю с министрами
челом
бия о будущем
твоем?

Пласт новый — и не шевели!
Ведь разговор не с сыном века,
а с вечной сутью
человека —
кровинки матери-Земли.

Итак,
ты все-таки ответь мне:
что все же сделал ты на свете,
на что надеется,
спеша
вслед песне ль,
за полушкой медной
или за должностью победной,
твоя
свободная
душа?..

ПОНЕДЕЛЬНИК

Праздной лености лишенный,
выходными освеженный,
среди прочих — рядовой,
в жизнь уходит с головой
понедельник —
день тяжелый,
день рабочий,
трудовой.

И не он виной, что в спину,
а нередко и в лицо
ты ли, он ли, я ли кину
недалекое
словцо.

Понедельник — день тяжелый
на пустые словеса.
У него своя краса:
мрачный, строгий и мажорный,
в думы века погруженный,
он восходит
на леса.

Шутки в сторону, ребята.
Время делу, мужики.
Если жизнь мечтой крылата,
крылья —
буднями крепки.

Роешь в глубь иль к небу строишь —
не взлетишь на словесах.
Лихо, брат, начальство кроешь
иль, напротив —
славословишь, —
покажи, чего ты стоишь
на строительных
лесах.

В гуще будних дней недели
кровью сердца докажи,
что и в прениях, и в деле
твои мысли —
от души...

Не фразер и не затейник,
с хитрецами не в ладу,
триста с лишним дней в году
сам я,
словно Понедельник,
по земле моей
иду.

И стихи мои — не солод,
да и в деле прям и крут —
уважаю
страстный труд!
...А еще замечу тут,
что в артели нашей
молот

«понедельником»
вовут!..

* * *

Холодок от морошки во рту
да костры голубики синие.
Заскорузлые,
парусиновые
голоса кораблей в порту.

Голоса крановщиц в тиши.
Лязг металла
сухой и пристальный.
Тишина,
что стеклом лежит
на плечах предрассветной пристани.

Воздух,
пахнущий по утрам
огурцами, морозом, серою.
Клубы дыма над тучным сейнером,
появившимся из вчера...
Осень
Севера.

РАСТОРГУЕВ

Традиции старательской артели,
в веках вам уваженье и почет!
Любая здесь пылиночка при деле,
малейший болтик
взят на спецучет.

Так у иного плюшкина в колхозе,
хоть и не любит их у нас народ,
а он, глядишь,
пороется в навозе —
комбайн соорудит, а то и вовсе
невиданное что-то соберет.

Что ж,
и моя душа протестовала,
не раз, не два споткнувшись тяжело
о брошенное в россыпях отвалов
бесхозное
народное добро.

И тут уж прав он —
Витька Расторгуев,

таежным перцем уснащавший речь:
— Вот мы у них движок-то
конфискуем,
а надо б их
к суду еще привлечь!..

Не слывший среди нас за словоблуда,
проевший зубы на семи ветрах,
уж он-то знал,
что нет добра без худа,
и вдоволь видел худа без добра.

Росла на Витьке жидкая щетина,
был Витька тощ, морщинист, пучеглаз.
Ни дать ни взять
природа подшутила,
сварганив это чудище для нас.

Ходил он прямо, словно запевала.
Неспешным шагом циркового льва

все камешки ощупывал сперва,
и гордо за отвалы
уплывала
его под «ноль»,
как булка,
голова.

Но у костра таежного за чаем
сидел, не замечая никого,
порою до того непроницаем,
как будто не от мира он сего.

В глухом лесу,
на нижней соцступеньке,
простейший из трудящихся людей,
он, может быть,
подсчитывал копейки,
которые слагают трудодень.

Он не был жмот.
И глаз его воловий
печалился скорей всего о том,
что мог бы жить и прииск экономней,
и меньше гнать
добра в металлолом.

Когда же возвращался Расторгуев
из дум своих к артельному костру, —
дымящуюся,
горькую такую
в глазах его читали мы тоску.

Не личное стремление к блаженству,
не злые сожаления рвача,
а истинно:
тоску по совершенству,

которого он в жизни
не встречал.

Ах что вы, что вы!
Витька мне не кореш
и для поэмы, знаю, не герой.
Но вот тоску, и боль его, и горечь
в самом себе
я чувствую порой.
И от нее
с трудом себя врачуя,
в статье, в стихе, в письме ли —
всякий раз
не скрою,
что отчаянно хочу я,
чтобы она
и вам
передалась!

* * *

Не мешали бы деревья видеть лес,
совершил бы я отчаянный прогресс:
вдоль по жизни и по лесенке судьбы
уж тогда бы я продвинулся,
кабы...

Вот и волосы устали опадать,
а конца и края лицам не видать,
не сливаются в единое,
и все!

Что ни дерево — знакомое лицо,
дорогое до последнего сучка.

Как посмотришь на такое
свысока?

И пройдешь ли,
чтобы сердцем не задеть,
самого себя
за ним не разглядеть?..

Жизнь уходит. Отойду, не отгорев,
заблудившийся в лесу среди дерев.
Корни голы. Ветки стынут на весу.
...Зимний кустик
в человеческом
лесу.

* * *

Пожил чудак на острове.
Промерил все моря.
А что привез? —
Да нос в крови,
по правде говоря.
Куда ходил,
кого искал
и что в пути нашел?
Отрекся ли от поиска,
надолго ли пришел?..

Истерший ноги до крови,
избивший руки в кровь,
искал он,
люди добрые,
великую любовь.
А не найдя великую,
отринув мишуру,

с повинною
улыбкою
вернулся ко двору.

И вот стоит растерянно,
кривит в усмешке рот,
поглаживает
дерево
отеческих ворот
и видит, как состарилось,
полынью поросло
по самые
по ставеньки
былинное село.

Знать, весело проехали
неведомо куда
над крышами и стрехами
буранные года.
Ушли
и не воротятся,
как вольная река...
Колотится,
колотится
сердечко
чудака...

* * *

В утлом доме тишина.
Дверь не хлопнет.
Пол не скрипнет.
На старуху дед не крикнет —
ох и старая она!

Тишина как тишина.
В окна улица видна.

Ноздреватый лед в кювете.
Снег в тележной колее.
Чуть колышет свежий ветер
мокрый флаг на сельсовете
да белье на верее.

Мир
исполнен доброты.
Окна мытые чисты.
Небо сине, будто речка.
Обнаженный, черен лес.
И ни звука,
ни словечка,
человечка
нет
окрест...

* * *

А только станет вечереть,
при тусклом загородном свете
в дом собираются соседи,
чтобы на гостя посмотреть.

И лущат семечки. И ждут
моих рассказов небывалых
о приисках,
лесоповалах,
о снежных северных завалах,
о ценах в нынешнем году
на промтовары
и еду.

Ах, все им ведомо давно
(газеты, радио, кино...)!
Но про Чукотку и столицу
как своему
и очевидцу
мне больше верят все равно.

И я рассказываю всласть,
а самого приятца гложет,
что нету надобности врать,
да и прикидываться
тоже.

Я все прошел
и вдалеке
был их кровиночкой,
а значит...
И кум растроганно заплачет
на украинском языке.

* * *

В сентябре на заре
тишина, тишина.
Луговая трава в серебре,
мурава в серебре,
у отца моего голова в серебре,
лишь моя голова серебра лишена
до поры. А пока
тишина, тишина, —

лишь она,
да щемящее пенье косы,
да от соли звенящая майка отца.
— Отстаешь, сынок.

Веселей коси.
На деревне, чай,
вырос, кажется!..

Ты прости мне слабость мою, отец.
Не скрываю — ладони мои горят.
Щеки жаром горят,
словно девки корят.
Да, не вышел из сына лихой косец.

Не помощник по дому я твоему,
просто
дань любви отдаю ему.
Белый снег, белый ветер и белая грусть
отбелили загар
на ветвях моих рук.

Но за далью,
где чуть ли не света конец,
где родится грядущее наше в борьбе,
может быть,
я чего-нибудь стою, отец,
хоть, наверно, не вышел в косьбе...

СОЛОВЬЕНЫШ

На волне молодого задора
и души золотого огня
много всякого сора и вздора
упорхнуло в эфир из меня.

Но ни телом разбойным не властен,
ни поступкам своим не судья,
был я счастлив воистину счастьем
соловьенышка. Труд соловья —

то уже мастерство вдохновенья,
сплав работы с актерской игрой.
Мне же было довольно для пенья
ощущения жизни самой.

Ах, давно уже не постреленыш,
в гуще жизненных веток снуя,
все придирчивей слушаю я:
не чирикнул бы мой соловьеныш
вороватым баском
воробья?..

УРОК ДОВЕРИЯ

А. Бирюкову

В тринадцать лет, задолго до стихов,
что так потом испортят мою кровь
и превратятся в злостную привычку,
совхоз доверил мне быков,
ярмо с налыгачем
и бричку.

А был я на деревне — городским.
Живых волов не видевший ни разу,
с какого боку подступиться к ним,
сообразил, увы,
не сразу.

А вот задачу понял слишком в лоб.
В передовые сразу выйти чтоб,
я плетку взял в воинственную руку,
и свистнул я, и, гордо крикнув: «Цоб!»,
перетянул быка
по крупу.

Но то и был тактический провал.
Волы меня открыто невзлюбили.
Как с ними я потом ни воевал,
чем самолюбье их ни врачевал —
«цоб» и «цобе»
они забыли.

От горя почернев на той войне,
зареванный и взмыленный, как в бане,
к обеду засыпал я на стерне,
шепча волам проклятия во сне,
пока не приходил комбайнер
на выручку волам
и мне.

А дядька брал не криком, не дубьем.
Он с ними говорил о том о сем,
и пел, и морды теплые их гладил,
чему-то улыбался, а потом,
соломой к шкворню пук цветов приладив,
«Ну вот», — вздыхал. И вот они втроем,
глядишь, — пошли.
И так три раза на день.

Урок был впрок. Поэзия моя,
как вол, глуха к методике битья.
Я жизнь кнутом в стихи не загоняю.
И боль не сочиняю. Ибо я
всегда пишу о том, что лично знаю.
А труд свой
и без плетки
знаю я.

* * *

Но так же,
как из года в год
заря за окнами встает,
как лес корнями шевелит,
как по утрам спешит народ,
стуча скорлупками калит,
как не стареет неба свод —
так по ночам
(не первый год!)
душа болит,
душа болит.

ПОЕЗД

И. Малохаткину

На краешек луга и леса
нежданно,
как юный повеса,
разбойничьим свистом шаля,
врывается лента экспресса.
И вздрагивает
земля.

И разом
в уютном и сонном
покое лесов и полей
как будто запахло озоном
и словно бы стало светлей.

А мы
с предосенней опушки

под пенье дрозда и кукушки
недвижно с тобою глядим,
как мимо мелькают окошки,
как тает
сиреневый дым,

как просто
на молодость нашу —
наш опыт любовь и печаль, —
дня нового мальчики
машут
из поезда,
мчащего
вдаль.

* * *

Замазывают окна. Гражданин
в зеленой шляпе, в бежевом пихоре,
в протяжных флагах розовых штанин
въезжает в осень,
сидя на заборе.

Он курит. И тяжелые слои
плывут над ним. Окурок догорает.
А он сидит
и словно догоняет
несбывшиеся помыслы свои...

* * *

Дорога жизни далека,
да короток наш век,

и где она —
твоя рука,
мой близкий человек?

Не в том беда, что ветер крут,
дорога тяжела,
а в том, что холодно, мой друг,
без твоего тепла.

На этой скаредной земле,
несущейся во мгле,
и ты, быть может, без меня —
жилище без огня.

А вдруг... А может быть, с одной
из множества планет
уже ты видишь мой земной
недостижимый свет

и простираешь мне во тьму
призыва полный стих
о том, как сердцу твоему
темно и зябко
одному
у пристаней чужих?

Дорога жизни
далека...
Но вдруг на рубеже
еще тепла
(тепла пока!)
и внеземного холодка
я осознал уже,
что значит смертная тоска
по родственной
душе.

* * *

Гостеприимен дом — спасибо чаю,
а холоден — так грош цена вину.
Но в том, что я отчаянно скучаю,
я никого сегодня не виню.

Усатый чай над чашками дымится,
веранда сходит в росную траву...
Уж сколько лет на Севере живу,
а здесь все те же — улица и лица.

Все тот же чай. Вишневое варенье.
Знакомые деревья у шоссе.
И прежние сквозные акварели
в безмолвно остывающей росе.

По родине ну где не заскучаешь?
Но, воротясь к ней, в тишине берез
все что-то подмечаешь, отмечаешь,
да так, что душу
за душу берет!

И хочется хоть в чем-то усомниться,
непонятым оставить до конца.
Но чай себе дымится
и дымится,
и древний пес зевает у крыльца.

* * *

Все снится мне парусник синий
на фоне алой воды.
Матрос,
отряхающий иней
с огненной бороды.

И мачты,
с тележным скрипом
валящиеся к волне...
Весь дом, напуганный криком,
на помощь спешит ко мне.

Так модны теперь инфаркты,
так страх перед ними силен!..
А в доме —
ах елки-палки! —
нет ни одной знахарки,
чтобы понять
мой сон.

КАТЕРОК

Евг. Сигареву

На рассвете,
словно катерок
из кипенья пены и тумана,
выплывает в сознании нежданно
домик мой дощатый у лимана —
юности далекий островок.

Будто к сновидению,
прильну
к теплому от солнышка окну,
стену просоленную поглажу.
Ты плыви,
скрипи, мой катерок,
в сильный шторм и в легкий ветерок
до поры, пока не вышел срок
такелажу.

* * *

Я приеду в этот край,
где душе и телу
рай,
где сады благоухают,
хоть ложись и помирай.

И прилягу я в траву.
Час пройдет — а я живу,
два проходит —
жив, курилка,
и во сне и наяву.

Жив
и чувствую спиной
нескончаемо родной,
летним солнцем разогретый
безмятежный шар земной.

Но и в поле, и в саду,
в речке, в озере, в пруду,
в тишине прохладной ночи
все я жду чего-то,
жду.

Словно через рубежи,
лести чуждая
и лжи,
убегает без оглядки
ниточка моей души.

Что ж,
покинем этот край.
Пой, душа моя, играй, —
увезу тебя из рая

куда хочешь.
Выбирай!

Но опять ты мчишь
туда,
где вода уже тверда,
где ни зноя, ни прохлады —
холода да холода.

Возвратимся мы домой.
Грустные?
Ни боже мой!
Величаво и торжественно
обнимемся
с зимой.

Окопаемся в снегу.
Пригласим к столу пургу.
Запоем
про все, что видели
на собственном веку.

И да будет в песне той
мир наш сложный
и простой —
озабоченный любовью,
правдой,
верой,
красотой.

* * *

А мне опять
в далекие края.
С охапкою картонок и корзинок

в последний день столичного житья
подарки закупаю
в магазинах.

День — суетный.
Но в радостной возне
он так непринужденно пролетает,
что только крыльев
не хватает мне.
Ей-богу! Только крыльев
не хватает.

Летит душа.
Да полноте, окстись!
Но мчат глаза по городу аллюром.
Я взял бы все:
и этих продавщиц,
и станцию метро с ее дежурным,

и ЦУМ, и ГУМ, и гордый МГУ,
театры
и музейное искусство.
И оттого,
что я не все могу,
мне на минуту
делается грустно.

Но усмехнусь. Рукой махну:
— Авось!
Будь это все у нас
под Магаданом,
мне и летать сюда бы
не пришлось,
а возвращаться, стало быть,
подавно.

И кое-что
видней издалека.

И есть чему
томительно присниться.
И нам она мила уже —
тоска
по югу — там,
по Северу —
в столице.

Так и живем.
Да что и говорить!
пока я жив и все на свете смею, —
еще я рад,
что в силах одарить
друзей далеких
близостью
своею!

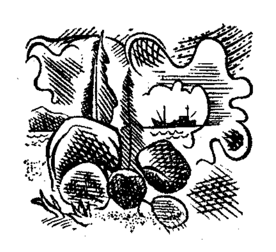
* * *

Я хочу положить тебе руки на плечи крутые,
глубоко-глубоко в синь-озера твои заглянуть,
мать моя, жизнь моя, вдохновенье мое — Россия!
Дай взглянуть на тебя.
Дай вглядеться в тебя перед выходом в путь,
дай испить твоих рос
и рассвета напиток тяжелый.
Я приду. Не грусти.
Ну а если, картечью прожженный,
упаду на снегу,
всю планету к сдающему сердцу прижав, —
вспомню эти глаза,
этот пристальный взгляд обнаженный,
вспомню тропы и трассы,
которыми все же прошел,
и спокойно усну —
как сегодня и нежный и сильный,

как сегодня хмельной
от твоей предрассветной росы.
Проводи меня, мать.
В путь нелегкий собрался твой сын,
пожелай мне широкой,
неторной дороги,
Россия.

* * *

Рассвет еще нежен и розов,
тайга золотая свежа.
Но, воздухом хрустким дыша
в преддверии первых морозов
опять
леденеет
душа.



СОДЕРЖАНИЕ

Пчёлкин А. А.

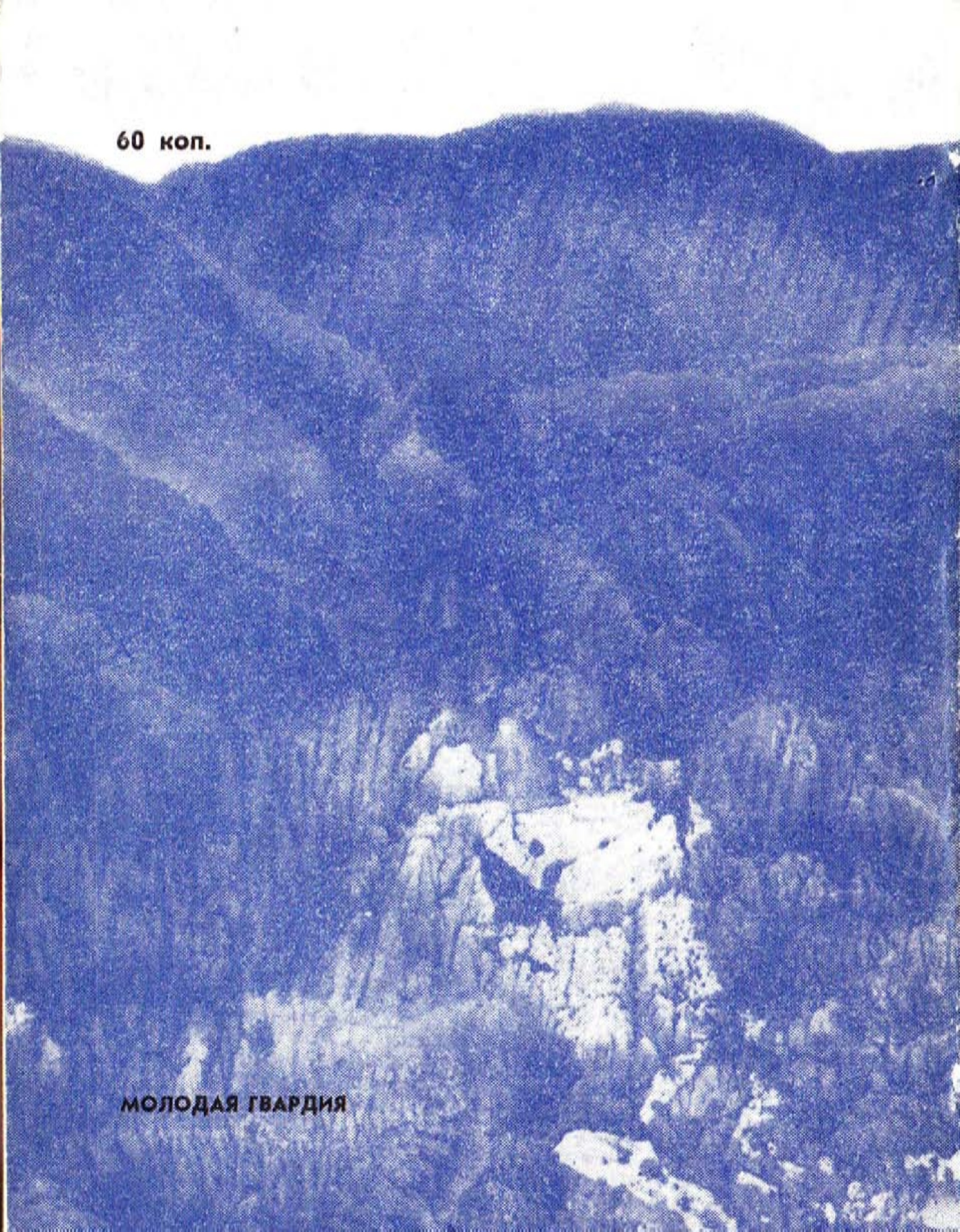
П92 Мёрзлый ветер: Стихотворения. — М.: Мол. гвардия, 1982. — 143 с.

60 к., 30 000 экз.

Живым и ярким, зримым и осязаемым встает в стихотворениях магаданца Анатолия Пчёлкина настоящее. Есть у поэта путеводная звезда, имя которой — Родина. Органично и естественно, как самое близкое и дорогое, входит в творчество поэта Север — суровая и прекрасная частица родной земли.

ББК 84Р7
Р2

П $\frac{4702010200-172}{078(02)-82}$ 207—82.


60 коп.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ